Кузьма Сергеевич

ПЕТРОВ-ВОДКИН

Хлыновск

Пространство Эвклида

Самаркандия

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Из впечатлений художника о пребывании в Самарканде в 1921 году.

- К. С. Петров-Водкин
  - ◯
- notes
  - ◯ 1

К. С. Петров-Водкин
Самаркандия

Из путевых набросков 1921 года

* * *

Долгое время по приезде в Самарканд впечатления от окружающего были сумбурны.

Впечатления, накопившиеся за дорогу, еще не изгладились: самарская холера, голод, полувысохшая Волга, безлюдная, как никогда; остатки войны Оренбургского фронта; повышающееся действие пустыни, с неожиданным Аральским морем. Пустыня, киргизы, юрты; Ташкент с былым величием его бульваров; Салар-река, купанье в которой можно сравнить только с Арагвой, и, наконец, Самарканд.

Туземный город с копошащимся базаром и лавочками, несвязность памятников с этой жизнью — все это до тех пор не укладывалось в одно стройное целое, пока моя белая комната, зияющая дырами в потолок и на улицу, не начала заполняться этюдами и мои ручные мышата, разгуливая между ног моих и мольберта, почувствовали себя хозяевами винограда и орехов, которыми мы лакомились вместе. Комната была над каузом мечети.

Утро начиналось купаньем из кауза или, пересекая узенькие проулочки, спускался я к Серебряному роднику — лечебному роднику сартов, свежесть которого на добрую половину дня делала меня бодрым.

Раннее утро после такого купанья.

В пекарне о гончарное брюхо печки шлепались узорные хлеба — «лапошки». Чайхана дымила самоваром. У стен Регистана чернело и зеленело виноградом, жужжали люди.

Площадь Регистана меня мало тронула, очень знакомыми показались мне Улугбек и Ширдор. Особенно покачнувшиеся минареты на привязях, имитируя неустойчивость Пизанской башни, внушали мне скорее сожаление, чем удовольствие. Но когда эта официальная архитектура в один из праздников наполнилась тысячами правоверных — цветные ткани и ритмические волны молящихся сделали площадь неузнаваемой:

заговорила геометрическая майолика отвесов стен, углубились ниши и своды — на массовые действа рассчитанная, площадь себя оправдала.

В большей мере с площадью Регистана связаны для меня впечатления фруктовые.

На протяжении лета меняются натюрморты. Урюк и абрикосы, нежные персики, перебиваемые вишнями.

Понемногу тут и там вспыхнут первые гроздья винограда. Впоследствии виноград засиляет все; самых разных нюансов и форм, он царит долго и настойчиво, пока не ворвутся в него кругляши дыней и арбузов и, наконец, заключительный аккорд золотых винных ягод заполнит лотки и корзины. В лавочках кишмишовый изюм разыграется янтарем к этому времени. Среди всего этого пшеничный цвет узорных, хрустящих по наколам, лепешек.

Биби-Ханым приналегла на меня своими бегемотскими глыбами, — ее страшенный силуэт я оценил лишь потом извне города: как члены не улегшегося в долину чудовища, торчат они над Самаркандом.

Гробница Тимура веет надуманным холодком дворцового зодчества.

Вот Шахи-Зинда, та сразу, как только вынырнули ее купола в прорезах священной рощи, — она стала моей любимицей. Шахи-Зиндой я понял человеческое творчество Самаркандии, как высотами Чупан-аты понял работу Тянь-Шаньских ледников и Зеравшана, источивших котловину междугория и сбросивших в дыру пыли гордыню Биби-Ханым.

Не обращающий на себя особого внимания портал Абдул-Азиса вводит в сказку лабиринта Шахи-Зинды.

Сотни ступеней подымают к гробнице Кусама-ибн-Аббаса, к таинственному колодцу, на дне которого находится чудесный город великолепнее Самарканда, где сад, подобный оживленной персидской миниатюре, в котором и доселе живет в ожидании вселенской победы ислама Кусам-Зинда, двоюродный брат Магомета. Заброшенный борьбою за Коран с песком Аравии к Зеравшану, здесь и погиб он под наплывом монголов.

От Абдул-Азиса до Шейх-Ахмета — Мистика, стеной которого кончается мавзолей, развертывается картина майолики Востока.

Первое ударное пятно в изумруде, перебиваемом глухим ультрамарином мавзолеев Туркан-аки и Бек-аки, образующих коридор рефлектирующих друг на друга цветистостей. Переливы цвета в тончайших узорах орнаментики, кончающихся сталактитами, спорят с вечерним небом и не сдаются небу чистотой и звучностью гаммы.

За Туркан-акой остатки мавзолея, в котором начинаются желтые оттенки с бирюзой и синим.

Дальше пустынный лабиринт, замкнутый молчаливыми стенами до дерева Шахи-Зинды, распластавшегося над сводами гробницы, прорывшего корнями и стену, и грунт.

Рассказывают: спасаясь бегством после окончательного поражения, Кусам-ибн-Аббас жестом отчаяния втыкает рукоятку нагайки в землю — рукоятка пустила корни и разрослась в дерево над могилою своего владельца… Всеведущий самаркандиолог Вяткин сам удивлен породою этого дерева, не встречаемого в Самаркандии.

Отсюда заключительная цветовая поэма. Здесь ясный ультрамарин, в нем разыгрались до полной звучности золотые, желтые и зелено-бархатные вариации. Их пронизывает скромными жилками откровение Востока — бирюза.

Эти солнечные стихии, втиснутые в непоколебимые узоры и линии, переплетаются вширь и ввысь.

Здесь магометанки юркают в темные своды гробницы.

Здесь, развалившийся на подушках, угощает нас зеленым чаем Мулла-Лисица. В нише на циновке татарин Галей, многознающий Галей из Казани. Задняя стена Ахмеда-Мистика китайской рельефной майоликой заканчивает лабиринт. Налево лесенка в низкую дверь наружу на кладбище Афра-сиаба.

Здесь начало другой Самаркандии: снега Тянь-Шаня, высоты Чупан-аты, хребет Агалыка видны отсюда.

Любил я в неурочное время прийти на Шахи-Зинду. Галей спал. Друг Галей, он так просто очеловечивал Аллаха. Он имел на то право: одиннадцать лет и долгих зим с ревматическими сквозняками и лихорадками Зинды изучал он Коран и рычание внутренностями во славу Единого. И был Галей неузнаваем в кануны пятниц на шиитских действах — он растворялся в низах животной стихии — это была сфера до дремлющего растения, до спящего минерала. В этом было нечто мудреное, и Галей многого не говорил из того, что он знал…

Небо загоралось звездами. У гробницы Зинды слабо светились верхние окна. В ковре утопала босая нога.

Запоздалая мышь зашуршит листами Корана.

Я спускаюсь в подземную молельню, где жуть времени рассказывает об ушедших, идущих и сменяемых поколениях…

Древние люди умели сосредоточиваться над вещами и строить из них любые формы.

* * *

По воскресеньям приглашали сарты в кишлаки, где они проводят летние месяцы.

Праздники у самаркандцев часты и по любому поводу.

Не считая общественных, много праздников семейных. Да и в работе праздник необходим: пиала чаю, затяжка чилима для доброй беседы антрактируют их занятия. В этом вообще типичность всяческого Востока: жизнь — самое главное, формы жизни бесконечно разнообразны — лучшая из них в осознании этих форм, в пребывании самому в бесформии. Отсюда добродушно-хитрая улыбка восточного человека на европейца, изобретающего новые и новые формы и не исчерпывающего, в сущности, ни одной из них до конца.

Из семейных праздников изящны праздники свадебные и трогательны — детские.

Первенец отмечается и прической, и халатом. Бараны и пуды риса, пение и танцы для сотни приглашенных сопутствуют в течение нескольких дней его рождению.

На обрезание тот же праздник. Чинно усевшиеся вдоль кауза муллы открывают многодневный пир…

Воскресное утро. Свежеполитые улочки. За городом веселая пыльная дорога между садами.

Из аулов едут на базар. Ослы, лошади, нагруженные курами, фруктами, дровами. Арбы скрипят скошенными колесами по ухабам.

В разлившихся арыках купаются ребятишки. Кутаются в бурнусы женщины, тайком выглядывающие из-под волосяных чадр, кокетливо дающие знать о их молодости холеной ручкой, унизанной перстнями.

В обычное время сияющий белизной хозяин встречает вас под тенью карагачей.

Ковры и подушки драгоцекят темную листву, отражаются в зеркале водоема. Душистый чай и лучшие фрукты сада начинают трапезу.

Старший сын угощает кальяном.

Дремотный отдых с пилавом и беседою о том, что было: откуда пошли узбеки и таджики, как делается кишмиш. когда посажено гранатовое дерево — засылаешь под журчание слов и арыка.

Солнце обойдет водоем; перекочуют ковры и подушки; настанет вечер.

Ласковые приветствия и возвращение в город по улегшейся пыли садовых проулков.

Впереди засветятся огоньки чайханов. Послышится гортанная речь и бренчанье двуструнки.

На Регистанской свистит флейта и рокочет барабан заезжего цирка. Воняет шашлыком и пряностями.

Изъеденный с головы до пяток ночными москитами, я хожу ночевать на крышу у тюбетеечного базара.

На крышах особый город: здесь проводят вечера и ночи.

Крышами женщины ходят в гости друг к другу.

Сверху не видно улиц. Заросшие травой и маком, здесь свои улицы и площади.

Хотя бы и слабый ветерок отгоняет не видимых глазом насекомых.

Хорошо раздуваются легкие: кажется, из глубины неба накачивает их воздух.

Звезды, звезды!

Кучами, отдельностями, величиною по грецкому ореху каждая, полощат они ночное небо.

Полярная низко у горизонта.

Вспоминается Африка: там Полярная была еще ниже. Собираются все мысли за день, за год, за всю жизнь — чего-то не хватает. Кругом красота, полный мир… Нехватка внутри себя: не полные, не четкие восприятия и отображения не полны и смутны.

Пространственность еще только мерещится. В ней переломы и культуры, и самого облика человеческого, но как труден путь к ней — окован в трехмерии кубизма аппарат мой…

Край солнца выходит из-за Рухабада, зажигая майолику Ширдора.

На крышах подымались жены, дети, мужья. Потягивались в розовом сиянии сартянки. Снизу зажужжало весенним ульем. Новый день, новые поиски.

Внизу под аркадами древнего рынка раскладывались тюбетейки. Стучали кузницы. Кричали о лепешках разносчики.

От Биби-Ханым надвигался караван верблюдов. Гордые морды, лебединые шеи и мудрые, мудрые глаза.

Вот последняя раса, недаром защитились они умершей почвой — цветом пустыни.

Ослы шныряют толпой.

Эти приноровились. Глаза бездумные.

— Лишнего не сделаю, хозяин, как ни горячись. Проковыряешь дыру на челке — тебе же хуже… Важничать, брат, нечем: судьба! Повернись она иначе, быть бы и мне хозяином и ковырять бы на тебе спину… Естественный подбор, брат, да…

Болтаются уши. Все для него знакомо. Ничего нет на земле особенного, и ослик толкает тюками прохожих, получает тумаки, прошныривая толпою базарников.

Садык разложил четыре халата, катушки ниток. В одной руке

его роза, другой держит пиалу горячего чаю.

— Салам, товарищи! Как поживайот?

— Здравствуй, здравствуй, Садык… Пора за город — к Чупан-ате.

* * *

Одна из дорог к высотам Чупан-аты ведет через Афра-сиаб — развалины древнего Самарканда.

Минуя кладбище, спускаешься на большую дорогу. Минуя каменный мост Сиаба, попадаешь в пригородную деревеньку, в конце которой кривой чайханщик останавливает поболтать, предложить за добрую советскую цену винограда, и, наконец, вырываешься в пустыню.

Холмы отлого начинаются за деревенькой. Полузабытые сады. Одинокие ореховые деревья.

Две дороги окружают высоты, и обе сходятся у зеравшанской Арки.

Как ручейки, по каменистым грудам вьются тропинки — все они стягиваются к Чупан-ате, Отцу пастухов, легендарному герою, защищающему Самарканд от разлития Зеравшана.

Верстах в восьми на одной из выдающихся шапок возвышенности стоит мавзолей — мечеть Чупан-ата.

Возвышенность защищает, как искусственная насыпь, низменность от прорыва реки.

— Когда очень прогневаем Аллаха, горы и камни потеряют сцепку свою — все ворота для огня и воды откроются, — сказывал мне Галей.

И что бы было, если бы Зеравшан проточил высоты, — черный ил оказался бы на месте Самарканда.

Но скала прочная, объеденная бурным потоком, она отшлифовала пласты своих залежей в кремниевые плиты.

Древние отвели бушующий Зеравшан в параллельный ему арык Кара-Су.

Кара-Су питает рисовые поля, в Кара-Су любящая более спокойные воды рыба.

Памятник Чупан-ата для меня исключительный пример связи рельефа почвы с архитектурой.

Мыши и серые змеи — обитатели этой мечетьки.

По обетам чьи-то руки наполняют сосуды с водой в углу мечети. У гробницы обычный стяг из конского волоса с навязанными ленточками тканей от болящих и просящих паломников, как в Италии в часовенках Св. Девы.

Отсюда предо мной вся Самаркандия.

К юго-западу едва видна Биби-Ханым. Налево цепь гор, возвышающихся до вечных снегов. На восток за рекой Ворота Самарканда, где проходит железная дорога. На севере до без конца уходит Зеравшан, распластываясь бесчисленными рукавами с хребтами черного ила.

Влево, от Зеравшана до Зеравшана, Самаркандия. Серебряно-зеленые градации, как в плоской чаше. Где-то там, в Бухаре, сливается ее далекий край с небом.

Небо я видел во все часы суток.

Днем оно невероятных разливов, от нежностей горизонта до дыры, зияющей в звезды на зените.

От окружения солнца оно имеет еще новые разливы до противостоящей солнцу точки.

Этот переплет ультрамарина, сапфира, кобальта огнит почву, скалы, делая ничтожной зеленцу растительности, вконец осеребряя ее, — получается географический колорит страны в этих двух антиподах неба и почвы. Это и дает в Самаркандии ощущение зноя, жара, огня под чашей неба.

Человеку жутко между этими цветовыми полюсами, и восточное творчество разрешило аккорд, создав только здесь и существующий колорит бирюзы.

Он дополнительный с точностью к огню почвы, и он же отводит основную синюю, давая ей выход к смешанности зеленых. Аральское море подсказало художникам эту бирюзу.

Первое мое восклицание друзьям моим о куполе Шахи-Зинды было: — Да ведь это вода! Это заклинание бирюзой огненности пустыни!

В угадании этого цвета в мозаике и майолике и есть колористический гений Востока[1].

Мавзолей Чупан-ата сохранился лишь в своем корпусе. От облицовки осталась часть барабана и купола.

Изразцы растащены по музеям Европы. Обломки их ухетывают крышу и подветренную стену. На горе и ее склонах валяются обломки бирюзового откровения.

* * *

Бывало, ночь заставала меня на высотах Чупан-аты.

Небо над Атой становилось уютнее: звезды давали обозначение пространству сферы.

Спускаясь, сбиваешься, отыскивая тропинку, царапаешь ноги колючками.

Необъятный воздух, запах приторно-сладких и острых растений.

От аулов доносится женский плач, надрывный, то оскорбленный, то жалостный.

Плач изменил свои рулады. Перебросился в сторону, ему ответили другие плачи.

В теневых ложбинах склонов засверкали двойные точки: то шакалы стягиваются к жилью человека.

Заухали собаки в кишлаках…

На кладбище Афрасиаба сражения собак с шакалами: здесь между ними смертная борьба за добытого мертвеца.

Недолго залеживаются покойники в могилах. Часто степной волкодав, провожая без отдыха бегущую процессию с его хозяином на одре, застревает возле могилы, чтобы не уступить бренные останки своего господина другому лакомке, и за ночь уничтожает труп.

Окраины города спят.

Одинокий уборщик выметает участок, утонув вместе с фонариком в тучах пыли.

Из темноты уличной ниши трусовато-громко окликает ночной сторож.

Огрызнется под ногой почивший среди улицы пес.

Скрипучей лесенкой подымаюсь в мою белую комнату и прямо на сенник.

В окнах повисла Большая Медведица, и светится от серпа луны барабан Биби-Ханым.

Соскучившийся мышонок пискнет над ухом — куда лезешь, глупый.

Приятная усталость всего тела.

Глаза смыкаются сами собой. Чтоб не забыть: в Самарканде очень много мышей…

* * *

Афрасиаб представляет внушительную картину и прекрасный план древнего Самарканда, разрушенного Чингисханом.

Город окружен был громадной высоты стеной, остатки которой огибают холмы.

Центральная котловина представляется мне площадью бывшего водоема, распределяющего воду.

Основательные раскопки Афрасиаба откроют еще многие диковины, наряду с эстетическими ценностями они помогут дальнейшему освещению вопроса о движениях культуры между

Азией, Африкой и Европой, потому что здесь действительно был некий узел Индии, Египта и Греции.

Терракота и стекло, найденные здесь, высокого стиля и техники.

На Афрасиабе есть и другое: здесь есть ложбина — любимое место слета орлов, где происходят дележи добычи, драки и любовь орлиная.

Здесь пасутся стада верблюдов.

Верблюдицы ласкают и лижут своих детей, а на холме, застыв на корточках, забывшийся монгол целыми часами не меняет позы.

Афрасиаб с восточным ветром поставляет самаркандскую пыль, самую мелкую пыль в мире, застилающую нос и уши, сушащую гортань, а с ветром западным снова принимает на свои развалины тучи этой же пыли. Обмен не вполне честный: в низинах и оврагах города пыль застревает и понемногу Самарканд растет, Афрасиаб же выветривается. В колодцах и норах его роются одинокие искатели. Официально раскопки запрещены Отделом охраны в ожидании организованных технически и научно исследований.

За западной частью Афрасиаба по дороге к вокзалу — селение прокаженных.

Жутко и тяжело видеть отщепенцев.

Безмолвные фигуры детей и старух сидят у дверей мазанок вдали от дороги.

Восточный закон гигиены запрещает прокаженным закрывать лица и носить чадры женщинам, чтобы отмечать чураемых и предупреждать здоровых при нечаянных встречах.

В восточном углу Афрасиаба, где Сиаб образует подкову, протекая глубокой щелью, находится могила Даниара.

Самый гроб длиною саженей в семь: мертвые останки росли на протяжении веков, удлиняя ложе святого, покуда забавники рационалисты не ограничили гроб каменными стенами со стороны обрыва.

Посмотрим, не спихнет ли упрямая нога Даниара мелочное ухищрение маловерных. Ниже гробницы в тени карагачей находится обширная терраса, на которой из-под могильной скалы выбивает родник Даниара.

В верхней части он только для питья, площадкой ниже он образует студеный бассейн, где можно не без труда окунуться. Из него родник стекает в Сиаб, смешиваясь с бурным изумрудно-серым потоком вод Сиаба.

Даниар в доброе время был пикниковым местом самаркандцев, остатки очагов подтверждают это. Теперь не до пикников строителям окраинных устоев, а наезжие больше

заняты погрузкой муки, кишмиша и риса, — к черту пикники, когда родина дохнет с голоду!

Поэтому у Даниара сон и тишина под карагачами, и ничто не мешает забредшему живописцу вникнуть в построение на холсте видимого.

Вода Сиаба хорошо стирает белье: на сучьях тополей сквозняком ущелья оно быстро сушится.

На Афрасиабе производил я наблюдения и опыты над проблемой пространства и его восприятием. Любовался и постигал восточную бирюзу.

Иной раз засыпал на холме под жвачку верблюдов, и тогда орлы начинали кружиться над бренным телом. Свист и ветер их крыльев будили меня, и я колотил палкой о перья и когти хищников, тяжело управляющих движением.

Видел я Самаркандию с вершины Агалыка. Серая мгла пыли — низменность потонула в ней.

Крошечная царапина Биби-Ханым едва уловима глазом.

Ни зелени садов, ни бирюзы людского гения не видно отсюда, а вершина еще не снеговая. Снега рядом — за следующей грядой сияют они.

Не выдерживает масштаба человеческое зодчество пред куполами снежных вершин.

Да и все Искусство не есть ли только репетиция к превращению самого человека в Искусство?

Сама жизнь не только ли еще проекция будущих возможностей?

Чувства, разум и кровь не танцуют ли покуда шакало-собачий балет — да и балет ли еще предстоит поставить человеку на сцене вселенной?

* * *

Незаметно прокралась осень на улицы и в окрестности.

Первыми появились облака и тучи. Небо разукрасилось новыми красками — зори утренние и вечерние зарадужили небо из края в край.

Потянулись стаи пернатых, звеня далекой музыкой над Регистаном.

Заскрипели арбы с перинами и коврами возвращающихся из кишлаков.

Начались дожди — в Самарканде появилась липкая грязь.

Сарты всунули головы в плечи ватных халатов и свесили рукава.

Как галчата, под навесами своих лавчонок, нахохлились торговцы.

Появились жаровни.

Октябрь кончался.

Над Чупан-атой рвались ветры, свистели в куполе. Зеравшан сделался еще чернее.

Снега ниже и ниже опускались к подножиям гор, и Агалык оделся в белое…

Для меня осень без России — не осень!

Все кончено; казалось, все изжито в Самарканде.

Последние приветы Шахи-Зинде, узбекам и таджикам.

Спасибо за их ласковую внимательность к полюбившим их огненно-бирюзовую родину…

Впервые опубликовано отдельным изданием: Петроград, изд. «Аквилон», 1923.

notes

Примечания

1

Эта бирюза не только в памятниках зодчества: Афрасиаб блестит и сверкает именно ею в осколках утвари. Окончательное разрешение этого вопроса, мне думается, даст ключ к общему пониманию этнографического колорита вообще и определению происхождения археологических находок в частности.